

## Прямое

Но боль была тупая, и для нее не было слов.

*Оксана Васякина*

Смерть, если мы так назовем  
упомянутую недействительность,  
есть самое ужасное, и для того,  
чтобы удержать мертвое, требуется  
величайшая сила.

*Г.В.Ф. Гегель*

Первое, что тебя настигает при чтении нового текста Оксаны Васякиной, — невыносимая прямота. Это не только текст, но и представление, исполнение текста, лучшей метафорой для которого должен быть прямой взгляд. На тебя смотрят, не отворачиваясь, не отводя глаз, испытывают тебя на неловкость — прямоотой, голосом, горем. Можно представить себе, что главная, а возможно, и единственная задача

литературы — изобретать способ говорить о том, о чем говорить «нельзя». Нельзя.

Надо отметить: в рамках того, что мы называем современной русской культурой и современным российским обществом, таких тем так много, что современной русской поэзии (а именно ее я всерьез считаю авангардом языковой работы) совершенно не приходится сетовать на нехватку задач. Для Васякиной эти темы: смерть, болезнь, женственность, гомосексуальность — и как все это укладывается (или не укладывается) в тривиальные, будничные, нормальные формы семейной и общественной жизни. Предметом исследования является то, как общество реагирует на одну из бесчисленных зудящих ранок, на рану женского тела и письма.

«Мама была настоящей женщиной. Женщиной в квадрате. Женщиной-женщиной. ЖЕНЩИНОЙ. Она часто говорила мне, что я тоже однажды стану женщиной. Что такое стать женщиной, я не понимала и, кажется, до сих пор не поняла». Когда я вернулась в Россию после долгого отсутствия, меня забавляло, что все магазины превратились в отдельные таинственные миры: «Мир телевизоров», «Мир суши», «Мир колготок». Васякина описывает особый, отдельный мир женщин: этот мир в самом деле похож на войско амазонок, здесь всем заправляют желание и тревога, здесь все горестно, вызывающе обращены друг к другу и при этом отделены друг от друга, у каждого своя тайна — у кого рак, у кого стыд, у кого любовь. Женщины в этом тексте испытывают друг к другу в первую очередь печаль.

Я пережила укол развлечения, когда Оксана сказала мне, что написала роман. Хуже, неуместнее, *нековременнее*

романа сегодня не может быть ничего: время традиционного русского, сдается мне, утекло в землю, например, под бадаевскими складами, которую потом ели всем городом. Что может быть непристойнее и скучнее, чем повествование о небывших людях, когда русский, советский двадцатый век наполнил, набил целую свою землю своими бывшими и исчезнувшими людьми. Оксана Васякина держит речь об исчезнувших, но и об оставшихся и переживших; в первую очередь она говорит о своей жизни — перед нами записки молодой персоны, особы, сироты, если мы осмелимся сопоставить это с попытками главного для нас русского прозаика Лидии Гинзбург (филолога, мыслителя, лесбиянки) сформулировать своего блокадного человека Оттера: нечто среднее между собой и всеми остальными.

Проза эта удивительно, почти нестерпимо прямая, открытая. Закон предисловия гласит, что писать следует безлично, притворяясь читателем-невидимкой; но законы в литературе для того и есть, чтобы их нарушать. Как читатель-автор, я не представляю себе такого прямописья: оно смущает меня, оно трогает меня. Ровный голос прямо, спокойно говорит о смерти, болезни, коррозии. Привносит все это в литературу, делает речью, не позволяет отвращать внимание, отворачивать сердце.

*У каждого свое горе.* Сколько раз я это слышала за последний год: каждый выражает свое горе по-своему, как умеет и как не умеет. Очень распространена мысль, что о смерти следует молчать, что смерти идет молчание. Тому много причин, например, заметим, — часто, когда говорят о смерти, в самом деле часто получается неважнецки. И тогда призывают поэтов: они вообще существуют на

земле в первую очередь для того, чтобы говорить о смерти красиво и прилично. Для этого выдумана элегия (заплачка) — форма хорошо темперированного стона о, воя по ушедшему.

Поэт должен придумать форму-урну-сосуд. Какова же эта форма у Васякиной?

«Я расчистила себе место на полу, села в куртке и обуви и начала распаковывать мамин прах. Я нервно орудовала ножницами, но ткань, в которую был зашит короб из картона, не слушалась. Руки взмокли. Когда я наконец сняла ткань, показался блестящий, заклеенный скотчем бок коробки. Я не верила в то, что там, под несколькими слоями скотча и картона, лежит прах». Она утверждает, что это короб, она утверждает, что это поэма. Можно возразить, что это дневник, мемуар, стихотворение, эссе. Вопрос о том, как Васякина соединяет, гибридизирует, разлагает, испытывает жанры, увлекателен: перед нами опыт сломанного, надорванного языка; усилие учиться говорить, производить письмо заново после своей личной катастрофы.

«После ее смерти моя поэтическая машина сломалась, забилась, как мышца. Когда приседаешь много раз, икроножные мышцы горят, становятся твердыми и больше тебе не повинуются. Именно это случилось с моей поэтической речью, она перестала мне повиноваться. Сломался язык, сломался орган производства поэтического вещества. Я пишу грубо и наотмашь, но все-таки кое-что я сделала после ее смерти, вокруг которой сгустилось все мое внимание. Я шла за ней в ее смерть и рассматривала то, как устроен мир умирания; я вспоминала, как распалось ее тело».

Свои записки, наблюдения за этой прозой я назвала «прямое»: прямое высказывание, прямое действие и да — прямой взгляд. Васякина производит взгляд, но и учится ему. У писателей, поэтов, фотографов. Вот она пишет о блестящем фотографе и возлюбленной блестящего литератора: «Лейбовиц фотографирует спящего (или мертвого?) отца. Фотографирует его так, словно смотрит на него очень близко. Лицо отца спокойное, он лежит на подушке в цветочек. На щеках его видны старческие темные пятна, весь он сухой, как опаленная солнцем коряга, и очень маленький, как все мертвые люди. Фотография открыта смотрящим. Мне не больно смотреть на нее, мне в ней не тесно, но я знаю, что в ней дремлет смерть». Лейбовиц также знаменита фотографиями своей любимой, Сьюзен Зонтаг, на смертном ложе. Зонтаг яростно писала о взглядах, много о болезни и смерти, ее возлюбленная научилась у нее многому. Их зритель, читатель Васякина тоже учится бесстрашию, бесстыдству, преданности.

В завершении хочу сказать, что поскольку книги имеют свои судьбы и свой срок, то срок выхода этой книги получился вполне особенный и, как бы это сказать, подходящий: книга выходит в годину, когда население Земли прощается со своими старшими (вчера в Соединенных Штатах от COVID-19 снова умерло несколько тысяч человек, в основном пожилых). Все мы провели этот год в поиске слов прощания.

Одним из жесточайших и поучительнейших впечатлений этого года было ежедневное чтение на моей страничке ФБ свеженьких (именно, как рана) некрологов и реакций на них, в основном, на мой необъективный взгляд,

выдающих слабость этой мышцы нашего языка. Очевидно, что сейчас в культуре произойдет прирост смертельных текстов, сейчас происходит вынужденная литучеба этого рода. Мы должны учиться читать, писать, терпеть такое прямое высказывание, прямое обращение в горе. Текст Васякиной — смелая человеческая сильная проза о сегодняшнем состоянии языка о любви и смерти. Некоторым из нас такая проза сейчас остро необходима.

*Полина Барскова*

Любовь Михайловна сказала, что у мамы было плохое тяжелое дыхание. Это она узнала от священника. Такое дыхание бывает у предсмертных. Свет был хороший, и ветра не было. Свет был, как в августе, золотой.

Рука Любви Михайловны лежала на спинке дивана, немного отечная, сероватая. Странно, подумала я, глядя на эту руку, неужели без санкции батюшки нельзя понять, что человек умирает, если и так видно, что умирает.

У Любви Михайловны спокойное лицо. Она верит в бога, и ее рак остановился. Наверное, она думает, что рак остановился, потому что она верит в бога. Еще на лице ее читается превосходство. Как будто бы на коленях у нее невидимый кубок жизни, который она выиграла у моей мамы.

Андрей сказал, что завтра в десять утра мне позвонит Михаил Сергеевич. Андрей уже дал его свату денег на бензин, чтобы меня везти за прахом. Я бы и сама справилась, но здесь важно участие. Участие и забота. Свет очень хороший, теплый. И суп-лапша получился хороший. Все получилось хорошо, как я и обещала. Важно внимание.

Муж маминой бывшей соседки, уже уходя с поминок, сказал, чтобы Андрей не грустил. Сказал, чтобы звонил ему, если захочет на рыбалку. Андрей сказал, что позвонит. Но я знаю, что не позвонит, тут важно принять участие и заботу.

Любовь Михайловна сказала, чтобы я приняла ее соболезнования. Я приняла. Она месяц поила маму святой водой: три столовые ложки с молитвой утром и три столовые ложки с молитвой вечером. Она сказала, что мама после батюшки воспряла и поднялась на ноги. Любовь Михайловна сказала, что мама смеялась и приготовила суп.

Мама сказала, что батюшка положил ей на голову какую-то херню и попросил каяться, а сам читал молитву. Мама сказала, что ничего не поняла. Но Любви Михайловне не призналась в том, что православие не очень помогает при болезни. Особенно когда в бога не веришь.

В детстве мне говорили, что, когда хоронят человека и идет дождь, это хорошо. С одной стороны, дождик в дорогу — добрая примета, а с другой стороны, это природа плачет. Природа участвует, соболезняет. Когда хоронили отца, шел мелкий дождик. Но в феврале дождика не бывает, вместо дождика — хороший свет. В этом свете все очень румяное и завершенное, как яблоко.

Все так и сидели на диване, на котором мама умирала. А потом разом все ушли. Мы с Андреем убрали со стола, вымыли посуду. Андрей сказал, что нельзя с поминочного стола ничего выкидывать и есть надо только ложками. Он сказал, что все помоеет, включил телевизор в кухне и начал мыть посуду. Я носила ему пустые тарелки. До вечера было еще далеко.

Андрей спросил, работает ли ночью крематорий. Не знаю, ответила я, но знаю, что наша очередь была в 16:30, а это значит, что тело уже сожгли. Андрей сказал, что это гадство — сжигать живых людей. Я ничего не сказала, а только подумала, что она не живая, а мертвая. Села на диван и смотрела телевизор. А потом легла на диван и заснула с горьким облегчением. Ночью мне снилась темнота.

Андрей сказал, что сват — человек специфический, сказал, чтобы я не обращала на него внимания. Андрей сказал, что дал ему триста рублей на бензин, чтобы тот отвез меня на центральное кладбище в крематорий.

Здесь тяжелые края. Всюду степь, а там, где вода разливается, — зелень и влага, эти места местные называют поймой. Отец жил в пятистах километрах отсюда, в Астрахани, там в устье Волги стоят паромы, которые запускают по рекам с началом навигации. Паромщики в селах люди уважаемые, без них никуда. Раньше у паромщика был специальный человек, он ходил по пассажирам и собирал плату за переправу. Теперь, говорил отец, систему оплаты сделали электронной, поставили на каждый паром по камере. Поставили контролера. Один паромщик сказал, что никогда не брал за мертвых плату. Ведь когда мертвого везешь, и так накладно, и мертвые за себя платить не могут. Такое участие в человеческом горе.

Но поставили камеры, и теперь зайцев на переправе нет. Даже мертвых зайцев на переправе нет. Паромщик не взял таксы с машины с покойником, и его оштрафовали на три тысячи рублей.

Михаил Сергеевич позвонил в 09:50 и сказал, чтобы я выходила. Я взяла розовую авоську из плащовки и спустилась. Все кругом было серым. И свет был серый, как шерсть, и ветер злой, как голодное животное. Все кругом было как в феврале. Это и был февраль.

Михаил Сергеевич встретил меня у подъезда. Ничего не сказав друг другу, мы пошли сквозь дворы.

Сват ничего не сказал, просто кивнул на мое приветствие. Меня посадили на заднее сидение. И стали ждать. Мы сидели молча и ждали, пока не пришла женщина в красном дутом пуховике с блестящей формованной сумкой. Она поздоровалась и села рядом. Сват завел машину, мы поехали.

Женщина сказала, что погода плохая. Сват и Михаил Сергеевич подтвердили. Мы проехали «Пятерочку», гаражи и попали в серую производственную зону. Там высадили женщину.

Со мной никто не говорил. Сват жаловался на газовщика, сказал, что заменить трубы и так дорого, а газовщик еще сверху просит три тысячи рублей. Сват сказал, что послал его нахуй и позвонил в ЖЭК, чтобы пожаловаться на него. Мама две недели ждала газовщика, за месяц до смерти она купила новую газовую плиту, но суп варили на старой, потому что газовщик все никак не мог прийти. Мама попросила, чтобы я еще раз позвонила в контору, и там сказали, что газовщик сможет прийти только через неделю. Через неделю маму отвезли в хоспис. Еще через пять дней она умерла, и было не до газа. Новая блестящая печка стояла в углу кухни, вся в целлофановой пленке, как невеста.

Сват сказал, что западная пропаганда совсем обнаглевала. Чем они там у себя на Западе занимаются, спросил он. Напялили блестящие трусы и танцуют, пидорасы, а если война? Что будет, если война? Половое воспитание — это разврат, сказал сват. Ребенок в саду должен уметь держать автомат Калашникова. Он лично научит внука собирать и разбирать автомат, чтобы тот знал, как это делается. Так это и делается, американские бляди только и умеют в три года презервативы в руках держать. А наши русские дети с пеленок автомат знают. Если начнется война, каждый пойдет защищать родину. И стар и млад, все пойдут защищать родину. Ебстись может каждый, тут много ума не надо. А родину любить — вот это труд.

Сват сказал, что по скайпу говорил с другом-немцем. Тот угрожал третьей мировой войной. Немец сказал, у них атомное оружие, а сват сказал, приходи, только сало не забудь, в жопу я тебе буду засовывать твоё атомное оружие. Я молчала. Сват сказал, что все они только и занимаются пидорасней и бабы у них бляди, по хуям скачут, как на аттракционе. Мне стало душно.

Мне стало душно. В окне серела степь — такого цвета у мамы были волосы. Когда я гладила ее по голове, то видела, что половина головы седая. И волосы были курчавые. Мама говорила, что после химии первые волосы, которые выросли, были все в завитушках, как у негра. Мама сказала, что бабушка после первой химии, когда отрастила волосы, хохотала, что теперь она негритоска.

Пидорасы, бляди, сказал сват. Я сказала, извините, вы не могли бы немного помолчать. Он замолчал.

Люди говорят много. Я к этому привыкла. Но мы ехали за прахом моей матери, и поездка должна была держать в себе почтительное молчание. Я должна была тихо плакать на заднем сиденье, а сват ничего не говорить. Могла идти тихая беседа, играть радио, могло быть что угодно, но не политический треп о пидорасах и блядах.

Сват не знал, что я лесбиянка. Но я хотела сказать, что вы ничего не знаете о гомосексуальных людях. Откуда у вас такая фиксация на анальной пенетрации? Зачем вы хотите вставить в анальное отверстие немца автомат, намазанный салом, хотела спросить я. Но не стала. Все-таки презервативы никому не наносят вреда, а, наоборот, помогают сохранить жизнь. А что автомат? Автомат нужен, чтобы убивать людей.

Было душно от печки и вонючего ароматизатора-елочки. Какое горе, подумала я. И ничего не сказала.

Я попросила, чтобы они подождали меня на стоянке у кладбища. Зашла за кладбищенский забор и закурила. Кладбище было в ярких искусственных цветах. Я повернула голову, — офисная часть выглядела как провинциальный стеклянный рынок. За крышей стекляшки дымила труба крематория. Я зашла в первую попавшуюся дверь. Мне сказали, что оформление документов в соседнем отделе. У соседней двери была очередь, и я села ждать. Пожилая женщина говорила с молодым человеком. Они обсуждали, какое место лучше купить дедушке. На центральном кладбище дорого, но нужно подхоронить его к матери, как он просил. Но на центральном кладбище очень дорого. Можно похоронить его в области, рядом с зятем. Но тогда дедушка обидится, по ночам будет приходить и орать. Он всю

жизнь на всех орал и теперь не успокаивается. Женщина сказала, что на днях он к ней приходил и орал. Такой дед неугомонный.

Я зашла в соседнюю дверь. В небольшом холле была стеклянная витрина, в ней на полках стояло несколько урн, среди которых я узнала мамину. Серая с маленьким черным бисерным цветочком на крышке. Какой цветок пошлый, подумала я, как на дешевых трусах. Андрей предложил взять ее, я выбрала ярко-красную урну с ручной росписью. На ней цветы были как на тарелках с хохломой. Но Андрей предложил серую, мама не любила ярких вещей. Эта урна была серая, как бок речной рыбы или капот девяносто девятой «Лады», такая была у моего отца в девяносто седьмом году. Серая урна была дешевле в два раза, а я хотела купить урну подороже. Я все взяла, что подороже, — красивое шелковое покрывало с выбитыми цветами и самый дорогой гроб для кремации. Гроб был похож по цвету на парфюмерные перламутровые тюбики. Мама любила все красивое, вот ей и гроб красивый.

Мамина урна стояла рядом с красной урной — такой, какую я изначально хотела купить для нее. Да, а ведь могли бы и спутать, тогда бы я унесла прах незнакомого мне человека. Но кто докажет, что в мамин урне мамин прах? Никто. Ведь процедура кремации проходила не при нас. Они вообще могли засыпать в капсулу золы, а мамино тело выбросить в общую могилу, чтобы не тратить энергию. Но это противозаконно. А кого сегодня волнует закон и его исполнение? Никого. Остается только верить в совесть похоронных функционеров.